



Владимир Шапко

ГРУЗОК, КТО ТАКИЕ ГОРКА И
ЛИПКА

роман

16+

Владимир Шапко
Грузок, кто такие
Горка и Липка

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57096746

SelfPub; 2020

Аннотация

Роман о лихих 90-х. О встрече и любви немолодых мужчины и женщины. О преодолении всех сложностей той жизни.

Содержание

1	Туголуков	4
2.	Олимпиада Дворцова	9
3.	Фантызин	13
4.	Таракан, бегающий по потолку	16
5.	Один день Олимпиады Дворцовой	21
6.	Звёздный час Фантызина	30
7.	Ванна с печальной водой	37
8.	Аргументы и факты 1992-го года	47
	Конец ознакомительного фрагмента.	51

1 Туголуков

На всех фотографиях выражение лица его было *действенным*. Он, как киноартист, *не замечал камеры*. Потому что вот прямо сейчас он кого-то поучает. (Кого он поучает, мы не видим: тот за кадром.) Может быть, отца. Или мать. Может быть, подругу. Может быть, товарища. Или нетерпеливо выслушивает их же, строго сдвинув брови. Чтобы тут же, едва они закончат оправдываться – вновь командовать, наставлять.

Даже снятый с коллективами – в 5-м ли «Б» классе школы им. Макаренко, в Артеке ли среди многорядных пионеров с красными галстуками, как будто с бумажными дутыми мельницами на груди... в студенческой ли высвеченной компании среди полупьяных доверчивых однокурсников и неустанно хомутающих их однокурсниц, которые вот только на секунду прервались хомутать, чтобы обернуться к фотоаппарату – даже тут он умудрялся не смотреть в объектив, непонятно кого поучал.

Этого не происходило, когда он снимался на документы. Волей-неволей тут приходилось смотреть в объектив. Смотреть несколько небрежно. Слегка надменно. Свысока. По-государственному устало. словно прервав совещание в министерстве. Или в горкоме партии. Как будто откинувшись рукой на спинку кресла. В своём громадном кабинете.

Правда, когда его снимали для Доски почёта, – получались не очень хорошо: его будто усаживали к фотоаппарату очень близко. Вплотную. И – как хочешь! И некуда было деться лицу, некуда отступить. Будто задавленному своему дыханию... В остальных случаях – только неумолимое наставничество на фотографиях. Или нетерпеливое выслушивание, чтобы тут же перекинуться на поучение: а-ата-та!

В 91-м, в парткоме, он бросил билет на стол, пришёл домой и разъехался в кресле во всеочистительном инсульте.

Очнулся в больнице лежащим навзничь с кляпиковым чужим язычком, наставляющим уже с краю рта: «Бла-бла-бла-бла!»

Его понимали: давали воды или подсовывали судно.

«Бла-бла-бла-бла-бла!» – всё беспокоился увечный язычок, всё выдавал словесную крошку. Времени теперь, чтобы вспомнить всю свою жизнь, у Георгия Ивановича Туголукова было много. Крокодильи глаза его кипели в слезах...

...По команде гордящейся матери маленький Горка выкрикивал с крыльца гостям, уходящим аллеей казённой дачи: «Два-один-семь-три-шесть-девять! Звоните!» Это походило на виртуозно исполняемую считалку. Хорошо им вызубренную, детскую, весёлую. Но оборачивающимся гостям она почему-то не давалась. Просили повторить. («Как, как ты сказал?») Некоторые из вежливости даже возводили ка-

рандаши над записными книжками. «Два-один-семь-три-шесть-девять! – барабанил маленький виртуоз. – Звоните!» Однако всё равно эту радостную чечётку мальчишки почему-то было трудно запомнить. Поэтому записывали, как правило, с ошибками в одной или в двух цифрах. Никто не звонил. Дачный телефон молчал. На тяжёлых тёмных коврах нарастала, спрессовывалась тишина...

– Два-один-семь-три-шесть-девять! Звоните! – провожал маленький Туголуков очередную группку гостей. Как всегда телефонная считалка звучала у него пронзительно и гордо. Гордостью фамильного герба.

Отец, всегда стоящий рядом, клал ему руку на плечо как соратнику:

– Молодец, Горка! – В сумраке вечера голова отца была мутной. Вроде придонного камня.

Потом мать, отец и маленький Горка смотрели на стрелнущий в небо пихтовничек, который золотился, освещённый закатным солнцем, напоминая собой старинные вертикальные клавикорды. А сиреневые осенние кусты словно кто-то побросал вдоль аллеи большими пустыми корзинами. И забыл про них...

Отец подхватывал сына, кружил по воздуху как плашку, затем нёс в дом. Мать, отряхивая, уносила за ними поднятую с пола испанку Горки...

К Туголукову в больницу вскоре пришла Олимпиада

Дворцова. Бывшая его подруга. Сидя на стуле возле кровати, она забыто держала в руках три апельсина. В одной руке два, в другой – один. Точно перед тем, как войти в палату, жонглировала ими в коридоре: любит – не любит, любит – не любит.

– Что же ты, Георгий? – спрашивала, наконец. – Полгода осталось всего до пенсии... – Забыв почему-то, что комбинат стоял, а Георгий уже девять месяцев был в бессрочном отпуске.

Чтобы не пугать её своей увечной речью, Туголуков молчал. Туголуков смотрел на женщину. Красные больные глаза его – вспоминали...

...Иногда ему приходили фантазии – овладеть ею в кустах. У забора. Воровато озираясь по участку, он тянул её туда как упирающуюся козу. («Ну Горка! Ну чего ты опять надумал!»)

На потные пористые мужские ягодицы без боязни опускались комары. Как вертолеты для дозаправки. На колыхающиеся аэродромы. Разгул стихии. Сейсмическая зона. Землетрясение. Воткнув хоботки, напивались. Густым, горячим, красным. Срывались и улетали. Тут же нетерпеливо опускались другие. И тоже уносились. На местах «заправок» вздувались пухлые подушки. Цвета белее белого.

Когда шли к садовому домику, Туголуков сквозь штаны чесал заднее место: «Нашкалили-таки, черти!» Олимпиада,

вся красная, склонялась и секатором срезала цветы для букета. Под сарафаном высоко заголяющиеся ноги её были тоже покрыты белыми шишками. Георгий Туголуков смеялся...

Олимпиада вздрогнула – Горка недвусмысленно схватил её за бедро. Здоровой рукой. Сосед Георгия смотрел на капельницу свою не отрываясь, как на инопланетянку, но всё же пояснил: «Это у него от пирарцетама. Целый флакон только что влили. Побочные явления».

Женщина сидела у кровати с бывшим любовником вся пунцовая. Как переходящее красное знамя. Вытиралась платком.

2. Олимпиада Дворцова

Каждый вечер она шла через пустой двор к соседней девятиэтажке, на которую уже была накинута всеобщая синюшная повинность, где только внизу, в беседке, как угольки большого когда-то костра, всё ещё теплились личики старушек, где тихо умирало их последнее человеческое общение.

Она полгода всего как вышла на пенсию. У неё всё ещё было красивое лицо. Правда, несколько крупной выделки. Какая бывает у тяжеловесной скульптуры. Но ни единого седого волоса в чёрных кудрявых волосах, ни одной, явно заметной морщины. Красивые ноги её казались свежее намелованными: такой были белизны... Однако она заходила в беседку, подсаживалась к старушкам и внимательно слушала их рассказы о болезнях, склоках, обидах. Слушала старушечий весёленький, с придурью, юморок. Она готовила себя к старости. Серьёзно, вдумчиво. Прикидывала всё на себя, примеряла. Она готова была уже вступить в это беззубое сообщество. Она хотела подражать этим старухам во всём. Только бы они приняли её в свою игру. А уж она постарается, она не подведёт, она не ударит в грязь лицом!

Временно оставленная на прежней работе, она вдруг выдумала себе очки. Для *изучения и переноса документа на ватман*. (В большом отделе на комбинате она работала чертёжницей.) Она маялась с очками, курочила зрение. Однако

быстро научилась сбрасывать их с переносицы. Этак устало, небрежно. И вновь накидывать на нос. Она была способной ученицей...

Сбивал всё учение (во дворе) – Фантызин. Он появлялся всегда внезапно, и на отдалении начинал нарезать круги.

Как глухонькой, старухи дружно кричали Олимпиаде: «Ждё-от! Что же ты? Липа? *Молодой человек!*»

Дворцова недовольно, но быстро шла. Фантызин деликатно, как глист, проскальзывал вперёд, открывал перед ней дверь в подъезд. А старушки отмечали не без юморка: «О, как побежала. Невтерпёж бабёнке. Ср... да родить не дают погодить! Хи-их-хих-хих!»

В спальне Фантызин всё проделал быстро. Будто в очередной раз обманул кого-то. Кинул. В данном случае женщину.

Одеваясь, посмеиваясь, спрашивал про Туголукова. Олимпиада зло запахивала-завязывала халат. «Не тебе о нём спрашивать. Если бы не ты, он бы не был сейчас в больнице».

– Ну уж нет, уважаемая! Я тут ни при чём! Хлеб-соль вместе, а табачок врозь!

– Это я, что ли, «табачок», мерзавец?

– Ну-ну! Пошутил, пошутил, Липа! Не заводишь!

На кухне он быстро смёл всё, что было у Олимпиады в холодильнике. Полкастрюльки вчерашнего борща, две сардельки с гречневой кашей.

– Не много ли на ночь?.. – спрашивала Олимпиада со скрещенными на груди руками.

– В самый раз, – отвечал Казанова.

Пил чай с вишнёвым вареньем. Погрыз яблоко с дачи Олимпиады.

Потом вольно развалился на стуле, свесив со спинки руку. Пожизненно хитрожо..., сейчас он даже подустал от своего прохиндейства. От дневных своих хитростей и уловок. Как устают от дневной одежды. Разнагишаться хотелось ему. Чего-нибудь вольного. Какую-нибудь дурость сотворить... Он начинал подначивать Олимпиаду. Прохаживаться по прежним отношениям Липки и Горки. Понёс что-то непотребное о нём, о мужской его силе коня...

– Заткнись! – оборвала его Олимпиада. – Не тебе бормотать об этом. Расселся тут: кум королю, сват министру! Давай на выход!

Фантызин хохотал. Очень довольный, выкатывался за дверь.

– Звони, когда снова понадобится!

Обидеть его было невозможно.

Ночью Олимпиаде приснился дикий совершенно сон. Как будто Горка Туголуков с игогоканьем гнался за ней. По горелой чёрной степи. «Да что же это ты, Георгий! – убегала и кричала она ему. – Ведь полгода тебе до пенсии!» Однако Горка не отставал, бежал, подпрыгивал, голый: «И-иго-го-го-го-го!» И вот уже догоняет, и вот уже настиг!..

Олимпиада подкинулась на тахте. С разинутым ртом. Тя-

жело дышала, раскачивалась.

В резком свете полнолуния белая газовая занавесь в раскрытой двери на балкон спокойно поколыхивалась. Походила на лунную фею в красивейших длинных одеждах... Дворцова падала обратно на подушку.

А следующим вечером идущий по двору старик Ворохов из 48й с удивлением смотрел на властную крупную женщину в беседке, которая опять сидела со скрещенными на груди руками среди кхекающих, трепетливых старушенок.

3. ФАНТЫЗИН

У него не было возраста. Ему можно было дать и 35, и 55. Белая вытянутая лысина его была побежима. То есть всё время меняла очертания. Как плёнка у только что вскипевшего молока. Он всё время двигался, куда-то ехал, спешил. Везде обманывал, химичил, кидал.

То видят его на оптовке – скупает за бесценок подпортившиеся апельсины, потом в двадцати метрах от ангара сгружает ящики на тротуар и ставит к ним чурека в белом фартуке.

То он уже на автомобильном рынке за городом – водит за собой человек пять южных людей в кепонах, показывает им автомобили, *презентует*, будто он единственный хозяин всего этого железного старья вокруг.

На улицах он обирал разом тупеющих пенсионеров и пенсионерок, втюхивая им всевозможные «гербалаи».

Он выдавал старухам по одной бутылке талонной водки для продажи возле гастрономов. И на холоде, на ветру каждая из них терпеливо удерживала эту *доверенную талонную бутылочку*, как удерживают младенцев – под попку и затылочек. Потому что Фантызин иногда платил *процент*.

По его наводке хорошо нагрели, кинули Туголукова, продав ему киоск для газет («В самый раз для вас, Георгий Иванович. На комбинат вам теперь вообще можно плюнуть!»).

Который оказался палёным. К которому через неделю прибежал ещё один «хозяин». Такой же обманутый, как и Туголуков.

Непонятно каким образом он проникал на презентации, юбилеи, всевозможные фуршеты. Однако и наевшись, и напившись там, начинал вдобавок подъедать на столах. Во время всеобщего веселья и танцев. Он ничего не мог с собой поделать. Он ходил по столам и подъедал. «Вы не будете? Можно я доем?» Он всё время хватал чужие бокалы. «Разве? Это – ваш? Извините». Он словно не мог наесться и напиться за всё свое детство, за голодную юность, когда учился в индустриальном техникуме.

Снюхиваясь с официантами, он всегда тащил с юбилеев полные сумки еды. Обьедков. Худенький, с небольшим пузцом, бегущий с сумками в руках к своему дому – получил от старух при лавочках чёткое прозвище: Грузок.

(Помимо Олимпиады, он путался ещё с двумя женщинами. Однако всё пёр домой. Ничего после халявных банкетов любовницам не заносил. Холодильник его был забит салатами, просроченными тортами, всё это быстро пропадало, Грузок вытаскивал на помойку опять же пакеты, сумки протухшей еды – но любовницы не получали ничего. Достаточно было им того, что он ел у них.)

У него была твёрдая уверенность, что люди быстро забывают всё, и можно *работать с ними снова*. Он вдруг появился у Туголукова в больнице. (Вскоре после первого прихода

Дворцовой.) Безбоязненно прошёл к нему и сел на край кровати. «Ну как ты тут, друже? Молодцом?» Похлопал больно-го по плечу. «Я к тебе по делу. Насчет другого киоска. На Космической. Он тебе будет нужен для реабилитации». Увидев, что язычок у «молодца» затрепетал, а левый глаз полез на лоб – поспешно успокоил: «Хорошо, хорошо! Ты ещё не готов для работы. Зайду через неделю. Поправляйся!» И он пошёл на выход, маскируясь накинутым белым халатом как разведчик.

Обманутые им люди, встречая его через какое-то время на улице, всегда вытаращивали глаза. Это всё равно как вчера похороненного человека сегодня встретить на улице. Ведь был суд, ведь вроде посадили его! Тут оставалось только одно – взмыть на дерево. Как насмерть перепуганному коту! И сидеть там, и смотреть, как он идёт да ещё подмигивает тебе, ошеломлённому.

На крохотной площадке возле Дворца спорта, где проходил митинг протеста, разрешённый властями, он очень серьёзно сказал: «Освободили не цены, товарищи. Нет. Освободили совесть. И её сразу не стало...» И скорбно пошёл с трибуны.

Пенсионеры поотшибли ладони, провожая его.

4. Таракан, бегающий по потолку

Медленно, настырно выползало пасмурное, придавленное утро. Больные уже сменили агрессивный ночной храп на утреннее умиротворённое посапывание. Туголуков лежал и смотрел на потолок. Смотрел на своего ежедневного утреннего таракана. Который вдруг опять самоубийцей полетел вниз. Наверное, крепко зажмурившись. Но и на этот раз ничего у него не вышло. Еле видимый в полутьме на полу, скороходом побежал вдоль кроватей.

После завтрака потащили в палату капельницы. Сосед Туголукова как всегда неотрывно следил за своей «инопланетянкой». Всегда впуская в себя всё до последней капли, – готовый мгновенно перекрыть всю систему.

Туголуков лежал безразличный ко всему. Ему было всё равно: закончилось в змейке лекарство, не закончилось, идёт ли уже в вену воздух – плевать! Однако вездесущий сосед панически кричал: «Сестра, у Туголукова в системе заканчивается! Скорей!» И прибежал белый халат. И Туголуков опять, как и таракан с потолка, оставался живым.

«Руку лень протянуть!» – ворчала сестра, как-то выпуская из виду, что выключить лекарство той рукой, в которую воткнута игла, невозможно, а другая у бедняги парализована. Выдёргивала иглу, шлёпала ватку со спиртом и резко делала из руки больного «голосование».

Туголуков молчал, не балаболил. Говорил сосед, ругая медсестёр как класс. У него было шершавое, как старый баллон, лицо. Потом он садился и начинал жадно есть. Туголуков старался не смотреть на шершавые,двигающиеся вверх-вниз щёки.

В палате лежало восемь человек. Все с разными неврологическими болезнями. Все жаловались и охали *при виде утреннего врача*. Но стоило только поварихе прокричать в коридоре «на зав-тра-ак!» или «обе-да-ать!», как с мисками и кружками больные чуть ли не бегом спешили из палаты. Всем приносили из дому родные, порой еду было некуда девать, она даже пропадала, и приходилось выкидывать её в бак в умывальной комнате, но как только раздавалось это сакраментальное «обедать!» – все разом забывали про свои болезни и, чуть ли не сбивая друг друга в дверях, торопливо топали в столовую. К раздаточной.

Получив свою пайку (супец ли жидкий там какой или какую-нибудь кашку-размазню), трепетно несли её в палату и начинали жадно поедать, нагорбливаясь на своих кроватях. Халява. Святое дело. Облизывали ложки, качали головами. Казалось, что дома, на воле ничего слаще морковки не ели. . .

Туголуков лежал в больнице уже месяц, понемногу начал даже вставать с постели, но по-прежнему, как и в первые дни, почти ничего не ел.

Каждый день приходила Олимпиада. Туголуков понимал, что женщина ходит к нему не только из одного сострадания.

Видимо, она рассчитывает сойтись с ним после его болезни опять. Приносила уже не только апельсины, но и домашнюю вкусную еду. А он отказывался есть, мычал и мотал головой. И только чтобы не расстраивать её, давал влить в себя несколько ложек супа. Он сильно исхудал, живот его стал как пустая чашка, однако ничего с собой поделать не мог, желание есть пропало. Зато вокруг постоянно стучали жадные ложки. Солнце в палату заглядывало только утром, днём палату с окнами как будто опускали в яму, сдвинутые шторы превращались в скрученные кривые алебарды, жгуты – однако ложки кругом стучали весело.

Георгий Иванович закрывал глаза. Старался не слышать ничего. Вспоминал...

...Голубь с грудью цвета окалины сердито бежал по аллее за невинной голубкой, склёвывающей то справа, то слева. Бежал неотвязчиво, зигзагами. Куда она, туда и он. Успевал сильно долбить её клювом.

– А чего это он, папа?.. – спрашивал у отца юный Горка.

Туголуков-отец улыбался:

– На гнездо гонит... Яйца чтоб скорей снесла... – и смеялся: – А она такая-сякая бегает попусту по аллеям!

Однако Горка не смеялся. Горка серьезно смотрел на убегающих зигзагами голубя и голубку. До тех пор, пока они не растаяли в пыльном солнце в конце аллеи...

...Всё на той же казённой обкомовской даче, только осенью, Горка Туголуков крадётся вдоль аллеи с пустыми уже сиреневыми кустами. Он одет в осеннее короткое пальтишко, на голове кепка. Вчера он видел здесь ежа. Ёжик выбежал на аллею, чуть помедлил и покатился сереньким колючим солнышком к кусту. Горка побежал, но ёжик исчез, как провалился под кустом. Мама крикнула с крыльца, что у него, наверное, там норка. А вот где? – с мамой вчера не нашли.

Сейчас Горка раздвигал сухую траву и заглядывая уже под все кусты. Тянучей тенью вдруг скользнула через аллею Мурка. Их кошка Мурка! Мальчишка подумал, что она учуяла ёжика, побежал: «Мурка, назад! Не трогай его!» Но кошка метнулась к забору, через тесную дырку пролезла на соседний участок и запрыгала там в сухой малине.

Горка взметнулся на забор, чтобы посмотреть. Тут под перекладиной, на которой он стоял, замолотился в той же дырке здоровенный котяра. Продрался на участок и стал гоняться за Муркой. Затрещала, начала ломаться малина. Остановившись, кот и кошка раздувались как мячи, злобно орали друг на дружку:

– М-мяор-р-р! Увв-вяу-у-у!

От дома уже бежала мама:

– Мурка, опять ты, мерзавка, опять!..

Залезла тоже на забор. А кошки как будто только и ждали её – завозились опять, заметались, зашипели в малине.

– Ув-вяу-у! М-мяо-ор-р-р!

Мать сняла сына с забора, быстро повела к дому.

– Мама, а чего они? Дерутся да, дерутся?

– Дерутся, дерутся, Гора. Не слушай!..

А потом у Мурки появились котята. Она лежала в доме, в плетёной большой корчажке, ленивая как тигрица, и четыре котёнка ползали по ней, играли... Горка смотрел во все глаза. «А они вырастут – тоже будут орать в малине?» Отец хохотал: «Будут, Горка, будут!» А мама почему-то покраснела. Увела Горку от корчажки и посадила за пианино учить гаммы. Горка старательно задирает пальцы и даже высовывал язык. Гаммы выползали из-под пальцев медленно, как колбасы. «Не поднимай пальцев! Не поднимай!» – стучала по пальцам мама...

По здоровой щеке Георгия Ивановича покатилась слеза.

А потом опять раздалось в коридоре:

– На у-жи-ин!

И как всегда началось столпотворение в палате. И Туголукову с закрытыми глазами казалось, что загремевшие ложки и чашки самостоятельно выбегают в коридор. Даже без своих владельцев.

Туголуков лежал пластом. За окном, где-то далеко внизу, носились машины. Зудели надоедливо, как мухи.

5. Один день Олимпиады Дворцовой

За спиной прозвучало «осторожно, двери закрываются», трамвай пошёл, и Дворцова заторопилась через пустую дорожку к высокому параллелограмму Дома печати. Сейчас на фоне восхода льющемуся чёрным стеклом.

В душном бетонном подвале уже стояла очередь с пустыми сумками и пакетами. Некоторым женщинам (знакомым) Олимпиада кивала.

С газетами быстро работала Надежда Приленская. В застиранном халате цвета дыма. Ей не было и сорока. Но лицо уже походило на заварной крем. Командовала сыну: «Коля, десять аргументов, десять караванов, двадцать рудного!» Одиннадцатилетний мальчишка метался вдоль стеллажа, отсчитывал экземпляры от пачек газет, кидал матери на стол. Приленская принимала деньги, давала сдачу, сквозь жиденькие очки вычитывала в подаваемой бумажке заказ. Иногда ругалась, не разобрав в нём ничего. Тогда какая-нибудь старушонка смущённо объясняла всё на словах.

«Коля, не спи!» – покрикивала Приленская, отсчитывая сдачу. Шепнула Олимпиаде: «Липа, возьми «Рудного» побольше, там новый закон». И снова подгоняла то сына, то бестолковых старух.

Олимпиада выбралась из подвала в 5.30. Под горящей лампочкой в проволочной мошонке над входом всё так же не

затухала, бессонно билась мошкара.

Подхватив сумку и пакет, Дворцова побежала к идущему вдали трамваю.

– Осторожно, двери закрываются!

Олимпиада поехала, откинувшись на сиденье, с сумкой и пакетом на коленях. Стекланный льющийся параллелограмм побежал назад, уже пылая во всходящем солнце. Думалось о неприятном. О Фантызине. Опять приходил. Опять добился своего. Потом как всегда смёл всё из холодильника. Постоянно смеётся над Горкой, мерзавец. «Как там наш неутомимый конь? Привет ему от однопалчанина!» Гад. Как избавиться от него? С лестницы что ли спустить?

– Осторожно, двери закрываются!

Поехал назад магазин «Охотник» с мордами козлов и рогами оленьими. Эх, Горка, Горка! Какой ты был мужик, и что теперь от тебя осталось. Логопед Профотилов постоянно жалуется. С красным носиком на большом лице, как сердитый каплун: «Не работает на занятиях. Не хочет учиться говорить. Вы должны повлиять на него. Как жена!» А какая я Горке жена? Да и занятия эти, надо сказать, – картина. Сидят друг напротив друга все инсультники отделения и под дирижирование Профотилова хором, высматривая языки друг у друга, пытаются говорить одно только слово «вода»: «Вооо-ода! Вооо-д-да!» Но уморительное дикое зрелище это каждый раз вызывало только слёзы. Хотелось плакать навзрыд. Да и Горку, когда уводила в палату, от злости все-

гда трясло.

– Осторожно, двери закрываются!

Чем его кормить? Ничего не ест. Уже капризничать начал. Отталкивает еду здоровой рукой. Сегодня надо бы сделать ему крошку. День опять будет жарким... На разрешённой площадке перед Дворцом спорта уже стояли два пенсионера. Удерживали один плакат с двух сторон. Как неустойчивого друга своего. Подругу: «Отдайте наши пенсии!»

– Осторожно, двери закрываются! Следующая «Новошкольная!»

Дворцова поднялась, пошла по пустому вагону к двери.

Фанерный столик в восемь часов расставила на ножки на всегдашнем своём месте, возле гастронома «Колос».

Прошла, поздоровавшись, шлепающей походкой плоско-стопная Чарышева. У неё столика не было. Встала с газетами далеко на углу просто как с букетами. Зато конкурентка Кунакова расположилась как всегда – прямо под носом, через тротуар. Хмурая, уже покрашенная как клоун. Однако газеты сегодня брали хорошо. Особенно «Рудный», где был напечатан закон о гербе и гимне. «Всё, ребята, теперь уж точно, в России нам не бывать!» – уходил и дурашливо выплясывал какой-то парень, будто ухватил большущий куш. «А что? что случилось?» – окружали столик новые люди, превращаясь в стекле гастронома в длинноногих испуганных птиц.

Через полчаса Олимпиада сдала всю мелочь знакомой

кассирше, выстояла очередь за порошковой сметаной и вышла, наконец, из гастронома на улицу.

Тяжело пошла к перекрёстку. Со сложенным столиком похожая на художницу, несущую на боку громоздкий мольберт.

Как всегда напугав, победителем промчался Фантызин на «хонде». Длинно сигналил. По улице словно улепётывала старая поповская ряса... Гад! – перевела дух Олимпиада, поддёрнула «мольберт» и пошла дальше. Уже через дорогу.

«У него массажист», – сказал в коридоре сосед Туголукова по палате. Олимпиада не удержалась, приоткрыла чуть-чуть дверь.

Крепкий парень в халате с засученными рукавами трепал бедного Горку как безвольную какую-то марионетку. Перекидывал на кровати, мял, барабанил рёбрами ладоней, щипал, растирал. Исхудалые кривые ножонки больного в широких трусах – жалко дёргались... Господи, ничего не осталось от человека, одна голова на подушке мотается. Большая, в пятнах вся, как жестоко избитая голова идола... У Олимпиады сжало горло. Олимпиада отошла от двери.

Сидела возле ординаторской, ждала Кузьмина, лечащего врача Георгия Ивановича. В раскрытой почему-то процедурной старуха раздевалась возле лежака. Медсестра ждала. С равнодушной отстранённостью в глазах. С отстранённостью молодости от старости. «Побыстрее, мамаша!» Не выдержи-

ла, начала сама сдёргивать одежду с больной. Груды у бедной старухи болтались как наволочки. «Да стойте же, стойте на месте, мамаша!...»

Ещё одна старуха остановила себя возле раскрытой двери. (Видимо, было «время старух».) Стояла, тяжело опершись на палку. Олимпиада тут же подсунула под неё целый диван. «Спасибо, милая, спасибо», – тяжело усаживалась старая больная. В выцветшем халате – как усохшая сдоба.

В коридор откуда-то вышел Кузьмин. Олимпиада сразу забыла старух, кинулась: «Вениамин Сергеевич! Вениамин Сергеевич! Здравствуйте! Извините, пожалуйста, я хотела узнать о состоянии Туголукова. Из шестой палаты».

Лицом Кузьмин походил на унылый щекастый флакон, торчащий из халата. Он увёл взгляд в сторону. «Ну что вам сказать? Динамика чуть-чуть сдвинулась к лучшему. Будем всё продолжать дальше: капельницы, массаж, физиотерапию. Логопед Профотилов. Водите его к нему два раза в неделю». Врач поднял на Олимпиаду глаза. Глаза были тоже унылы: «Ну и внимание, забота родных. Вы как жена должны это понимать...»

Он двинулся дальше. Сутулый, в великом халате, точно тоже больной. Остановился, полуобернувшись: «Искупайте его сегодня с Грибановой. У вас это хорошо получается». – «Спасибо, Вениамин Сергеевич», – прошептала Олимпиада.

Потом она сидела в палате и смотрела на своего Георгия Ивановича. Лицо инсультника было как битва. Как покину-

тая всеми битва. С упавшей щекой и вылезшим чужим глазом. В первые дни она не могла смотреть на это лицо. Сейчас уже привыкла. Старательно, закусывая нижнюю губу, вливая этому лицу в рот крошку. Георгий Иванович ел сегодня на удивление хорошо. Рот раскрывал вроде кривого дупла. Но всё равно и с таким ртом был... красивым. Олимпиада незаметно смахивала слёзы.

С санитаркой Грибановой повезла больного на каталке в умывальную комнату. «Да тебе у нас надо давно работать!» – смеялась, гремела вёдрами в углу пожилая Грибанова. Олимпиада размашистым раком быстро подтирала кафельный пол. Приседающие, возящиеся крепкие ноги её в бахилах были будто от динозавра. Отжимая тряпку в ведро, тоже смеялась.

Георгий Иванович, уже помытый, удивлённо хлопал воду здоровой рукой. Как кинутый в ванну гусь. Не узнавал воды.

В скверике возле больницы она доела из банки крошку, оставшуюся от Горки, сложила всё в сумку.

Вышла к трамвайным путям. Мимо проплыл коптильный цех на колесах с коптящимися гусями. Но Олимпиаде нужно было на автобус до аэропортовских дач – перешла через трамвайные пути.

В автобусе сидела у окна. Нестерпимо хотелось спать. По всей Коммунистической валились девятиэтажки.

Однако на даче споро поливала зелень, и стелющуюся, и

торчащую, таская за собой тяжёлый шланг. Лила из него в лейку, сеяла воду над морковью и огурцами.

Неподалёку от дома её, за гастрономом «Колос», на пустыре раскинулся небольшой зелёный базарчик. Перед прокопчёнными дачницами лежали на столах тяжёлые бурые гольши помидоров, весёленькая кокетливая редиска, смирившийся перьевой лук. Олимпиада тоже могла бы продавать там со своего огорода. Но почему-то стеснялась. Почему-то считала, что с газетами стоять на улице приличней. Культурней, что ли. А когда накапливались излишки с дачи, всё раздавала тем же старушкам во дворе.

Олимпиада тащила шланг к лункам с капустой. Уж тут нужно лить от души. Капуста любит воду.

У соседей Заковряжиных опять шла гулянка. Ревели и пещали под тентом песню как бычьи и сучьи дети. Работающая Дворцова не нравилась – иногда грозили ей кулаками.

В пять часов она помылась в летнем душе, оделась для города. Поела возле избушки хлеба с помидором, прощально поглядывая на сосну над крышей, хвоя которой тяжело и чёрно намокла сейчас вечерним солнцем.

Олимпиада закрыла на ключ входную дверь, на горб закинула полный рюкзак с овощами, взяла в руку сумку, цветы и отправилась, наконец, к автобусной остановке.

Шла по узкой петляющей тропинке через весь массив садового общества «Авиатор». Раскинувшегося, но тесного, как кладбище.

В переполненном автобусе удерживала три срезанных гладиолуса высоко над головами, будто флейты, боясь, что их поломают. Но всё обошлось – довезла.

Старушки в беседке оживились, увидев её во дворе. Замахали ручками. Как на собаку-драку, она вывалила им на столик огурцы, помидоры из сумки. Но сказала, что сегодня посидеть с ними не сможет – дома много дел. До свидания, милые!

Старушки тут же забыли благодетельницу, начали хватать всё со стола. Каждой досталось по два-три овоща. Смотрели на них в своих кулачках, как будто впервые видели. «В нужде и кулик соловьём свистнет! А, бабоньки? Хи-их-хих-хих!»

А Олимпиада дома варила Горке щи на завтра, стирала в тазу его грязную рубашку, майку и трусы, снятые с него сегодня.

Перед сном сидела под торшером, пыталась читать. На страницах ведущих журналов почти схлынуло диссидентское чтиво, неуклюже, занудно ворочалось только последнее колесо, да кое-где отлетали ещё всякие мелкие щепки, но Олимпиаду эта литература, казавшаяся сначала очень интересной, как-то уже не захватывала. Голова её валилась, журнал выпадал из рук.

Она встала, разделась, легла, наконец, в постель. Выключила торшер.

Казалось, сразу позвонили. «Вот ещё, гад!» Зная, что не отстанет, поднялась, пошла.

Улыбающийся победитель стоял на площадке. Поигрывал ключами от «хонды». Кошелёк его ниже живота был весом. Будто пупочная грыжа...

Олимпиада зло захлопнула дверь.

– Ха-ха-ха-ха! – долго удалялось по лестнице вниз.

Потом там же, внизу, лаял пёс. В подъезде шарахалось утробное эхо. Пса втокнули куда-то, и всё оборвалось.

6. Звёздный час Фантызина

Раскрытая кухня ресторана напоминала баню, банный обширный кафельный зал с грохотом тазов и паром. Вдоль длинных чугунных плит сновали повара и поварихи. Четыре посудомойщицы в туго завязанных мокрых полотенцах как проклятые кланялись и кланялись над узким и глубоким оцинкованным корытом.

Наблюдая, Фантызин прогуливался в коридоре возле кухни.

Появился Зяблов. Ключом открыл дверь *своего кабинета*. «Принёс?» Фантызин отдал ампулу. Зяблов сбросил пиджак, ринулся в соседнюю комнатуху типа чулана.

Фантызин ждал, развалившись в старом скрипучем кресле, поматывал с колена ногой. Матовая лысина его была родной сестрой плафона на потолке.

«Деньги после банкета». Зяблов скатывал рукав наглаженной белейшей рубашки. Потом стал тушью подкрашивать перед зеркалом ресницы. После морфия и обработки ресниц бабьей кисточкой метрдотель ресторана «Тахами» Зяблов вновь обрёл свое привычное надменное лицо. Блеском мёртвых брошей заблестели глаза его.

С интересом Фантызин наблюдал. Метрдотель ладонью провёл по залезанным, как воронье крыло, волосам, поправил чёрную бабочку, стал надевать чёрный, как уголь, пи-

джак. Одновременно давал инструктаж:

– Ее зовут Алевтина Егоровна. Фамилия Пенкина. Она заместитель Тетерятникова. Сегодня ей пятьдесят. И все за столом тоже из торговли...

Они вышли из закутка. Зяблов закрывал на ключ дверь:

– Но учти, Грузок, если опять будешь подъедать по столам...

– Да ты что, Гена! Да никогда! – захохотал Фантызин.

Перед самым входом в ресторан Зяблов дал Фантызину почти свежий букет цветов, набранных вчера со столов в зале. «Особо не махай ими, могут осыпаться».

В ресторане «Тахами» всё было на японский манер. Официантки в тесных кимоно, таская тяжёлые подносы, куце перебирали ножками. Волосяные башни их были проткнуты длинными чёрными иглами. По-японски вяньгал непонятный оркестрик, состоящий почему-то из индийских ситаров и лежачих барабанов.

По наводке Зяблова Фантызин подлетел к банкетному столу. К упитанной спине юбилярши. Сам в блёстком костюме – весь скользкий, гальянистый:

– Алевтина Егоровна! Дорогая! От коллектива базы номер четыре позвольте поздравить вас с юбилеем!

Будто удивлённой дойной корове, подсунул женщине букет. Прямо к её большим коровьим губам.

– Желаем вам крепкого здоровья, Алевтина Егоровна,

дальнейших успехов в работе! – выкрикивал радостный Фантызин над столом.

Крупная женщина с букетом пришла, наконец, в себя:

– Ну что же... Спасибо. Тронута.

И не успела глазом моргнуть, как лихой этот молодец уже продвигался вдоль стола. И вроде здоровался со многими. Приклонился даже и некоторое время делал вид, что слушает говорящую Мылину, интимно разглядывая её шею цвета бледного окорока. Но шею вроде бы – только погладил. И скромно сел почти в самом конце стола. Однако тут же вскочил. С чужим бокалом в руке: «За здоровье Алевтины Егоровны!» И под восторженный рёв и мгновенно взлетевшие руки с вином и водкой выпил этот чужой бокал до дна.

– Лихой парень, – пригубив вина, тихо сказала мужу юбилярша. – Узнай, кто он такой.

– Узнаю, – жуя, посмотрел на Фантызина муж с бровями как мечи.

После небольшой эмоциональной встряски, вызванной появлением и фейерверками Фантызина, работники и работницы торговли вновь загалдели за столом. Все уже были хорошо поддаты. Все размахивали руками. Вновь пошла похвальба. Стесняться и скрывать что-то нечего, ресторан откуплен, все свои, в зале посторонних нет. Не забывали и про юбиляршу. По примеру Фантызина вскакивали с бокалами и славословили *благодетельницу*. И сразу возникал вверху во всю длину стола стеклянный радужный благовест в честь

Алевтины Егоровны. Словом, всё шло как у обычных, простых, правда, уже не советских людей.

Через час-полтора юбилейный длинный стол стал напоминать средневековую разгромленную галеру, где все гребцы давно уже перестали гребти, побросав вёсла. Вяньганье со сцены всем надоело. По-простому, по-несоветски начали кричать: «Хватит тянуть кота! Танцы хотим, танцы!»

Как кроватный цех, оркестр забренчал по-новому. Ударил что-то явно знакомое, удалое. Из-за стола сразу начали вылезать, выталкиваться, выскакивать. И вот уже перед сценой запрыгало, замахало вверху руками тесное содружество тел: «Бухгалтер, милый мой бухгалтер!» Рядом с Алевтиной Егоровной высоко прыгал, точно в баскетбол играл, её муж. А перед полным задом юбилярши, украшенном к тому же ожемчуженным бантом, страстно танцевал ещё какой-то мужичонка. Головастенский и извивающийся, как сперматозоид.

За покинутым столом остались только те, кто не умел танцевать, и те, кто уже был ни тяти ни мамы. Час Фантызина настал. Фантызин метался вдоль разгромленного стола. Фантызин подьедал.

С глазами неземными, безумными Зяблов играл роль записного негодяя из немого фильма двадцатых годов. Всё время стрелял длинным указательным пальцем, давая разные направления своим семенящим гейшам. Иногда чёрным демоном нависал над давящимся обедками Грузком, но от-

влекали опять бестолковые официантки, приходилось отходить от стола.

Грузок, посмеиваясь, хватал и хватал с тарелок. Как тот Васька из известной басни.

Перестав плясать, на него издали смотрели Алевтина Егоровна, её муж и головастый человечек. На фоне прыгающей гулянки – все трое с раскрытыми ртами...

– Ну и козёл ты, Грузок! – сказал Фантызину Зяблов, отдавая деньги и сумку с продуктами возле тёмного ресторана. – Козёл, честное слово!

Фантызин хохотал. Почему-то абсолютно трезвый, с весёлыми, поблескивающими глазами.

– Звони, Гена, когда понадобится! Пока! Ха-ха-ха-ха!..

Утром Фантызин подкрадывался на «хонде» к Дворцовой, стоящей со своим столиком возле гастронома «Колос». Подкрадывался как кот к беспечно чирикающей птичке. Когда любимая вздрогнула – с места рванул. Уносился с дичайшим сигналом. Будто хохоча на весь проспект. («Да чтоб ты провалился, гад!» – вытирала платком пот с лица Олимпиада.)

В обед, оставив машину на улице, он прохаживался у Олимпиады во дворе. Старушонок в беседке ещё не было, мимо надоедливо бегал только какой-то ребёнчишка. Которого хотелось поддеть ботинком. Однако Фантызин вдумчиво ходил, щурился на играющее в облаке солнце. Вытянутая

лысина его ныряла. Вроде шлема ихтиандра под водой.

Увидав его, Олимпиада сразу хотела повернуть назад, на улицу. Но переборолла себя. Пошла с сумкой к подъезду.

Фантызин подлетел:

– Ну как там наш жеребец?

Олимпиада остановилась. Смотрела на приплясывающие ножонки в модно мятых светлых брючках. Перевела взгляд на чёрную стильную рубашку с коротким рукавом.

– Вот что, Фантызин. Больше не приходи. Больше ты в мою квартиру не войдёшь.

– Это почему ещё? – перестал кривляться Фантызин.

– А потому, что когда Горка поправится, мы будем жить вместе. Вот почему!

Глаза Фантызина разом потемнели. (Так темнеет кипяток, когда в него вбросят кофе.)

– Ты пожалеешь, сука, что сказала эти слова.

Он повернулся, пошёл. Солнце тут же выглянуло из-за облака, бросило много лучей вниз – и стало казаться, что по двору уходила, злобно полоскалась одна только стильная чёрная рубашка с коротким рукавом: и руки, и ноги, и голова из неё – исчезли!

– Давай, давай, Грузок, шагай! – не очень уверенно выкрикивала женщина, почему-то обмирая сердцем.

Уже на другой день мимо «Колоса» пролетела лихая бандочка пацанёнков, смела, переломала газетный столик Олимпиады. Досталось и сбитой с ног владелице. Получила

два пинка. Правда, по мягкому месту.

Конкурентка Кунакова суетилась, поднимала плачущую Олимпиаду, у которой голые ноги из-под задравшейся юбки елозились, никак не могли найти опоры под собой.

– Милицию надо, Липа, милицию! – восклицала Кунакова. С белым покрашенным лицом своим. Как перепуганный клоун.

Вечером прозвонил телефон:

– Ну как, дорогая, понравилось?..

– Я в милицию заявлю, негодяй! Слышишь?! – закричала было Олимпиада. – Я...

– Ха-ха-ха! – словно покатилося вниз по лестнице. И застучали короткие гудки.

7. Ванна с печальной водой

Когда начинался утренний обход и возникал Кузьмин с медсестрой Зудиной – все сразу ложились на свои кровати.

Все смотрели в потолок. Каждый ждал своей очереди, каждый думал, как получше рассказать врачу о сегодняшнем своём самочувствии, о новом *пугающем симптоме*.

Кузьмин всегда начинал осмотр с левого ряда, от первой кровати у окна, где лежал почему-то всё время спящий старик. Очень длинная Зудина склонялась и будила его. Старик сразу садился и столбиком застывал на кровати. Глаза его словно и не спали только что – были той девственной старицовой голубизны, в которой не проскальзывала ни единая мысль. Кузьмин черкал его иголкой по животу, по рукам, по икрам ног, и старик снова ложился и засыпал.

Врач переходил к следующей кровати, уныло слушал о *новых симптомах*, о которых вчера ему забыл сказать больной, затем проверял у него, высказавшегося и сразу опустошённого, всё те же надоевшие всем рефлексy. И так – по всему левому и правому ряду. Длинная Зудина записывала его тихие указания в тетрадку и вновь торопливо и мелко, как будто пароходные белые багры, переставляла за ним свои тощие ноги.

Сосед Туголукова, Крепостнов, так рассказывал о своей болезни Кузьмину: «Идёшь по улице. По Коммунистиче-

ской. Вместе со всеми. Всё нормально. И вдруг уронишь сознание. А потом и вовсе – потеряешь совсем. А сам идёшь. Понимаете?! Не падаешь! И врубаешься весь в поту. И ноги-руки свои передвигаешь дальше будто железные – рывками! Понимаете?! А иногда – так просто склинит. Глаза. К переносице! И идёшь опять как марсианин сломавшийся. По-ни-маете?!»

Кузьмин понимал. Успокаивал, похлопывал возбуждёвшегося больного по плечу.

Возле Туголукова, после осмотра его, врач всегда сидел и думал, примяв кулаком щекастое свое лицо. Георгий Иванович раскинуто лежал на кровати, словно в ванной с очень печальной водой.

Точно не поверив себе, Кузьмин вновь начинал мять руку больного, сжимать, дёргать, выворачивать. Привстав и глядя Туголукову в глаза как инквизитор, резко проводил иглой от плеча до запястья. Не дрогнув, глаза Георгия Ивановича смотрели на потолок, на бегающего таракана... Как после сражения, Кузьмин быстро шёл к двери. Семенящая Зудина за ним еле поспевала.

Все сразу принимались есть. Доставали из своих запасов. До крика «обедать» было ещё далеко, так что нужно подкрепиться. Всё так же, как мухи, жужжали за окном внизу машины. Всё так же Туголуков смотрел на потолок. Но таракана там не было. Видимо, таракан свершил задуманное.

Старик в углу по-прежнему не просыпался. К обеду вста-

вал только за тем, чтобы тоже поест да сходить в туалет. Трусы его свисали как сачок для ловли бабочек. Или как подсачик для вытаскивания крупной рыбы на берег. «Почему вы так разгуливаете по отделению? – доносился из коридора голос Зудиной. – Как вам не стыдно!» Однако старик, походило, на Зудину не обращал никакого внимания. После своего обряда в туалете шумно смывал вроде бы чьего-то кота с длинным хвостом. Возвращался и снова ложился. С закинувшемся подбородком – храпел. Какая у него болезнь – Туголуков так и не понял: через неделю старика выписали.

На его место пришёл другой старик. Если первый всё время спал – этот всё время сидел. На кровати. Весь в морщинах уже. Как растрескавшийся пень при дороге.

Почему-то называл Кузьмина не доктором, а «товарищем Кузьминым». На вопрос врача о самочувствии, всегда отвечал одинаково: «Ноги холодеют, товарищ Кузьмин. Наверное, скоро крикну, товарищ Кузьмин». Поэтому, видимо, и сидел всё время, думая, что в таком положении кровь вернётся к ногам, и они снова станут тёплыми.

Впрочем, сидел он так всего неделю – с холодными ногами и ушёл домой. «Прощайте, товарищ Кузьмин», – сказал врачу.

Всё время ходил по палате больной по фамилии Пильщик. Подсаживался ко всем. С назойливой предупредительностью пьяного в автобусе. «Вы меня простите, пожалуйста, но Гайдар уже не тянет. Он выдохся. Вы со мной согласны,

простите, пожалуйста?» Тошенький, с головкой поседевшего вдруг петушка, он всем надоел, полосатые штаны на нём были как из Освенцима, все «пассажиры» словно ждали только одного, когда он «сойдёт», наконец. На какой-нибудь остановке. Но он «не сходил». Он снова подсаживался на кровати: «Вы меня простите, но как вы думаете, Чубайс потянет вместо него? Вы меня только простите».

Его грубо обрывали: «Замолчишь ты, наконец?» Он бил себя по губам ладошкой: «Молчу, молчу, молчу!» Шёл и ложился на свою кровать. Плоско лежащий – как умирал на ней. Но чуть погода седая остроклювая головка вновь ходила по палате и деликатно спрашивала, подсаживаясь: «Вы меня только простите, но как вы думаете, он потянет?..»

Чем он болен, Георгий Иванович тоже сначала не мог понять. Но однажды ночью Пильщик упал. Упал между кроватями, в припадке, громко ударяясь головой о тумбочку как о барабан. Крепостнов, сосед Туголукова, сразу закричал: «Сестра-а!»

При включённом свете тараканы начали разбегаться по стенам как трещины. Цаплей проскакала к колотящемуся больному Зудина. За ней прибежал Кузьмин, дежурящий как раз в ту ночь. Ещё кто-то в белом. Втроём кое-как утихомирили беднягу. Сняли обмоченные полосатые штаны, завалили беспамятного больного на кровать.

Уходя, Кузьмин равнодушно смотрел на стены, на бегающих тараканов. Но в коридоре вдруг начал кричать на Зу-

дину. Как совсем другой человек: «Ты когда, наконец, вызовешь санэпидемстанцию? Мамаш с их насосами? У тебя дома так же тараканы бегают?» Зудина растерянно ответила, что это дело сестры-хозяйки, а не её, Зудиной. «Я тебя покажу сестру-хозяйку! – удаляясь, гремел неузнаваемый Кузьмин. – Чёрт знает что такое! Больница называется!..»

Иногда сосед Туголукова Крепостнов лежа ни с того ни с сего вдруг громко говорил в потолок: «Ничто так не старит женщину, как взгляд её поверх очков. Ничто!» Или: «Человеческая жизнь колеблется между скукой и тревогой. Шопенгауэр». Или после долгой паузы – вообще ни к селу ни к городу: «Небо – как баба на сносях». Вдруг поворачивал к Туголукову большое свое, как дряблый баллон, лицо: «Да она не знает с утра, куда правой ногой ступить, куда левой! Сама толстая, а муж худой как велосипед!» Строго ждал ответа. Парализованному становилось не по себе. Соседу явно требовалась психиатрическая помощь. Лучше бы уж ел, наверное. Или следил за капельницей. «Да куда он денется! – вдруг кричал Крепостнов. – С ним всё ясно! Как с гвоздем! Как со шляпкой гвоздя! Бей – да только следи, чтоб не загнулся!» И снова поворачивался и требовательно ждал ответа у Туголукова. Георгий Иванович переставал дышать. Но Крепостнов резко перекидывался на другой бок и со слезами на глазах гладил мощную, как артиллеристский склад, больничную батарею. Георгий Иванович переводил дух, вытирал

тылом руки разом взмокший лоб.

Впрочем, иногда к Крепостнову действительно приходила психиатр Турсунова. Статная восточная женщина с размазавшимися женскими бакенбардами возле ушей. Замаскированная в отделении под *невролога Турсунову*. Задавала в общем-то безобидные вопросы: какой на дворе год, какой месяц, число. Выслушивала точные ответы Крепостнова.

Поворачивалась к Туголукову. Ну, а как у нас дела? Туголуков изображал растение с головной болью. Турсунова смотрела. Чёрный пушок над её верхней губой влажно блестел. Так. Мы ещё не дозрели до моих вопросов. Турсунова вставала, шла к двери.

Срывался Пильщик: «Альмира Оралбековна! Альмира Оралбековна, а как вы думаете, Шахрай потянет, вы извините меня, пожалуйста?»

Турсунова вела его из палаты как друга. Как верного старого друга: «Шахрай потянет, Сергей Аронович, ещё как потянет». – «Но ведь Шахрай – это в переводе означает *мошенник*, Альмира Оралбековна!» – «Тем более потянет, тем более, Сергей Аронович». – подмигивала палате Турсунова и выводила седого петушка с собой.

Пролежав в неврологическом отделении два месяца, навидавшись и наслушавшись всего, Георгий Иванович стал понимать, что неврология, в общем-то, ходит рядом с психиатрией. Пограничны они. А иногда и просто идут в одной упряжке. Георгий Иванович чувствовал, что и сам порой ста-

новился не очень вменяемым.

Однажды он смотрел с другими больными телевизор в холле. (Это, когда уже стал выходить из палаты.) На экране всероссийский кабан со сдвинутыми бровями опять брезгливо указывал кому-то трехпалой рукой. Совал ею как пистолетом. Следом за ним говорил его постоянный *озвучник*. По фамилии Ястржембский. Разъяснял *дорогим россиянам* на пальцах, что же всё-таки хотел сказать их Главный Дуролом. Георгий Иванович поднялся, чтобы уйти, но начали кружить по экрану птицы и обезьяны и появился Ведущий с улыбочивыми широкими губами... Всю передачу Георгий Иванович просидел спокойно. Но в конце почему-то показали двух зимних снегирей, сидящих на вечерней голой ветке черёмухи. Снегириха, как испанка платье, вдруг развернула-свернула хвост. Как будто пляснула фламенко. Снегирь даже глазом не повел. Он походил на серьёзного Брежнева, красно подсвеченного орденами... Георгий Иванович начал смеяться. Один среди недоумевающих соседей. Хохотал. Его бульканье из разинутого рта не походило на хохот. Но он-то знал, что хохочет. Зудина еле его успокоила. Повела, мельтеша длиннющими своими ногами, в палату. В общем, Турсунова ему тоже, наверное, не помешала бы.

Часто плакал. Сквозь давящие слёзы всегда видел одну и ту же картину...

...В сумраке комнаты казалось, что от лица матери остал-

ся только чёрненький крохотный экслибрис на подушке, жуткое факсимиле его. Да что же это такое! Как же такое может быть! – подходил, поворачивался и словно спрашивал у отца Туголуков.

Она прерывисто дышала. К приехавшему сыну, к своему Горке она протянула руку. Рука была как овсяный переломленный стебель. Он гладил руку, полнился слезами. И всё поворачивался к отцу. А тот, словно винясь перед сыном за то, что мать его так исхудала, сидел с опущенной головой. Лучи солнца падали из окна прямо ему на голову, высвечивая её будто тиной покрытый придонный камень.

Потом двадцатилетний студент плакал и гладил у себя на груди мёртвую руку матери...

Георгий Иванович незаметно, словно пот с лица, вытер слёзы платком.

Возле Крепостнова уже сидела жена, и пока тот жадно черпал из кастрюльки, действительно смотрела на мужа поверх очков. По-старушечьи. Глазами словно бы раздетыми, неприбранными. «Не клинило?» – тихо спрашивала у мужа, имея в виду, должно быть, голову его. «Нет», – коротко отвечал супруг, продолжая есть. Тогда поворачивалась к Георгию Ивановичу и спрашивала, как у него дела. Получше ли ему стало. Георгий Иванович смыкал веки: да. «Он немтырь, – пренебрежительно, как про бревно, говорил про парализованного Крепостнов, продолжая черпать. – Чего спра-

шиваешь? Он долго теперь будет молчать».

Тем не менее, этот Крепостнов ещё раньше, когда Туголуков с трудом вставал, единственный из всех в палате водил его в туалет. (Когда не бывало рядом Олимпиады.) Вернее, таскал, волочил на себе. Вроде прилипшего к боку осьминога. Или болтающегося кальмара. Таким же макарон при-таскивал обратно. Укладывал осторожно на кровать. Георгий Иванович сжимал его руку потной своей, дрожащей левой рукой. «Ну-ну, бедолага. Успокойся», – гладил его руку Крепостнов. Баллонное шершавое лицо его даже разглаживалось в улыбке...

...После обеда, когда все лежали и похрапывали, Зудина тронула Туголукова за плечо: «К вам пришли, Георгий Иванович. Ждут в холле». Видя, что Туголуков суетливо начал подниматься, заскрипел пружинами кровати, мягко придержала: «Потише только. Все спят».

Посетителем оказался усатый Курочицкий из инструментки. С забытого уже Туголуковым комбината. Он сидел с тремя пресловутыми апельсинами в сеточке. Почему-то без больничного халата. Он вскочил, увидев везущего ногу Георгия Ивановича. Крепко обнял. Довёл и помог больному сесть в кресло.

Потом не знал что говорить. Сидел с хорошо заточенными и загнутыми своими усами. Как с кошкой рыбацкой. Которой в глубоких колодцах цепляют и вытаскивают оборвавшиеся,

затонувшие вёдра.

Заговорил наконец. Один. Поняв, что Туголуков стал немым. Советовал ему идти *на инвалидную*, а не *по возрасту*. Надёжней будет, Георгий Иванович. А комбинату – конец. Раздербанивают окончательно. Сырье вывозят по ночам машинами. Никакого комбината фактически нет. И вряд ли будет. Даже иностранцы не хотят с пола поднять. Работяги всё чего-то духарятся, с плакатами бегают, пикетируют цеха, галдят. Но – поздно. Поздно, Вася, пить боржоми, когда желудка уже нет.

Перед уходом он опять крепко обнял больного. Нос его зашмыгал, а усы загнуло ещё выше. Поправляйся, Георгий Иванович, поправляйся, дорогой. Пошёл к лифту.

Однако когда Туголуков лёг, он появился в палате. Без слов, тоже как глухонемой, помотал апельсинами в сетке. Положив всё на тумбочку, сжал ещё раз левую руку Георгию Ивановичу и исчез.

Как он узнал о болезни Туголукова и как проник в больницу без халата – было непонятно.

8. Аргументы и факты 1992-го года

После того, как с газетами вышла последняя старушка, Надежда Приленская повернулась к Олимпиаде. И та сразу заплакала.

«Ну-ну, Липа!» – как могла, успокаивала Приленская.

Потом молча слушала. Рано состарившееся, заварное лицо её было серьёзно.

– Ну что тут сказать, Липа, – заговорила наконец, – В центре тебе уже не работать. Эта сволочь не оставит тебя в покое. Попробуй продавать на Зашите, прямо рядом с вокзалом. А остатки газет будешь оставлять у Пилипенко из Союзпечати. В её киоске. Я ей сегодня же позвоню. Из-за столика тоже не переживай. Закажем. Коля вон тебе и принесёт. Дня через два. Слышишь, Коля?..

Маленький тщедушный Коля Приленский сновал, быстро прибирал всё на стеллажах. Он казался женщинам муравьёнком, у которого отняли детство. На которого вдруг недели взрослый большой халат, а он путается сейчас в нём будто в силках.

– Слышишь, Коля?..

– Слышу, мама, обязательно принесу.

Он тащил к остановке две тяжёлые связки газет тёти Липы. Но в вагоне сразу приложился щекой к стеклу. И под сонный перестук колёс первого пустого трамвая, под плыву-

щими одиночными огоньками не проснувшихся ещё домов тоже быстро уснул. И уже не слышал, о чём говорили мама и тётя Липа.

На железнодорожную станцию Олимпиада смогла поехать только в одиннадцать утра, уже в ощутимую жару.

Пожилая Пилипенко была на месте. Сидела в киоске союзпечати вроде зобастой совы в гнезде. После объяснений Олимпиады сказала коротко: «Заноси».

Для сквозняка сзади дверь киоска была распахнута настежь. В поддуваемом пёстром платье Пилипенко сидела будто в гондоле – вместе с табуреткой. «Жарко», – коротко пояснила, даже не обернувшись.

Олимпиада торопливо развязывала свои пачки газет, старалась не смотреть на полные голые ноги, поражённые варикозом.

С газетами на руках встала метрах в тридцати от киоска, рядом со зданием вокзала. Солнце жгло, било в глаза, но Дворцова терпела – от билетных касс на улице люди шли не в здание вокзала, а сразу на перрон, к электричкам, и проходили, чуть ли не задевая Олимпиаду, её газеты. Однако за час она продала только четыре экземпляра. Одни «Аргументы и факты» и три «Каравана».

С электричек сходили озабоченные дачницы с наспех подкрашенными губами. Навьючивались тяжеленными своими рюкзаками, подхватывали вёдра, укрытые белым, спешили

мимо Олимпиады к переходному мосту. Им было явно не до газет.

Олимпиада всё стояла на том же месте, всё ещё надеялась на что-то.

Подходила другая электричка. И уже другие вроде бы дачницы бежали. Со спёкшимися студенистыми щёчками, подрезанными острыми морщинками. Но бежали почему-то настороженно, суетливо. Как бегут всегда спецназовцы. Расторопными тараканами. Здесь чисто! И здесь чисто! Так мимо Олимпиады и пробежали, даже не поняв, что её надо «глушить». Чисто! И здесь чисто!..

– К поездам выходи, к поездам! – наставляла Пилипенко. – С электричек не берут – одна беднота.

Но первым прошёл скорый, стоял всего три минуты, и у бегающей Олимпиады какой-то полупьяный пассажир в майке и тапочках купил неизвестно для чего один «Караван». Поехал, повиснув на поручнях, со смятой газетой в руке, с повисшим тапком, который всё же втянул в вагон.

Пришёл, наконец, алма-атинский. От Пилипенко Олимпиада вновь кинулась на перрон.

Массово начали выгружаться челноки. Суетились возле вагонов. Все с обязательными своими пупочными грыжами. И мужчины, и женщины. И вот уже всё стадо движется по перрону. С носильщиками, с тележками. На тележках сумки, матерчатые баулы – до неба. Челноки и челночницы спотыкаются, оглядываются на поклажу. Словно боятся, что та и в

самом деле может умахнуть от них в небо.

У Олимпиады купили аж целых две газеты. Она опять вернулась на привокзальную площадь. Не знала: куда теперь?

Неподалеку от касс, прямо на тротуаре, стояли толпы бутылоч с окрошечным квасом. Как советские состарившиеся гулливеры, нависли над ними старухи. Такой же старик, но с метлой под мышкой, остановил гремящий оцинкованный ящик на колёсиках. Как на параде, дурашливо прокричал: «Здравствуйте, товарищи бизнесменки!» И сразу поинтересовался картавым Лениным: – «Как бизнес на сегодня, товарищи?» – «Давай, давай, греми дальше, старый пер...», – беззлобно ответили ему.

Старик посмеялся. Невысокий росточком, повёз ящик дальше.

Взгляд Олимпиады почему-то возвращался и возвращался к этим старухам, квас у которых никто не покупал. Которые так и продолжали обречённо стоять над несчастными своими бутылками... Не выдержав, Олимпиада подошла. У самой старой купила одну бутылку. Старуха суетилась, обтирала бутылку тряпкой, подавая Олимпиаде. Касающиеся рук Олимпиады длинные пальцы её были ледяными. Как у чёрной лягухи, только что вытащенной из молока.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.